

Не могу представить себе, как выглядел поселок Барачный, где я оказался сразу после роддома. На его месте сейчас Дворец культуры «Сибэнергомаш», который успел послужить по назначению всего-то чуть больше полутора десятка лет. Теперь там торговые помещения от маленьких киосков в пять квадратных метров до огромных торговых залов. Похожая участь постигла почти все культурные центры нашего города, что произошло вслед за усушкой и утруской заводов и комбинатов. Сначала промышленные гиганты превратились в отдельные производства, потом — в цеха, и, в конце концов, — в те же самые торговые площади. Каково это — понять, принять, свыкнуться — нам, кто от рождения назывался заводскими? Все мы были «трансмашевскими», «моторовскими», «химволоковскими», «котлозаводскими»...

Из Барачного мы переехали на 3-й Технический проезд (судя по всему, названия улицам давали люди, далекие от романтики), где нам выделили комнату на первом этаже двухэтажного жактовского дома. По своему внутреннему устройству этот дом мало чем отличался от барака — печное отопление, вода из колонки через дорогу, удобства на улице. Зато до проходной завода было всего двести метров, и родители выходили из дому всего за несколько минут до гудка. 3-й Технический состоял из полутора десятка точно таких же двухэтажных домов, стоящих по обе стороны проезда. Напротив и чуть наискосок от нашего дома была школа, куда ходила моя сестра, младенцем привезенная из Ленинграда после прорыва блокады. Заводской гудок, шестидневная рабочая неделя, укороченная суббота, октябрьские и Первомайские праздники... Все это из чьей-то другой

жизни, не мой, я вижу прошлое не только издалека, но еще и со стороны. Почему? Не знаю.

Впрочем, из того прошлого я помню совсем немного, очевидно, потому что, посещая старшую группу детского сада, свалился в подвал, разбил голову и на полтора месяца попал в больницу. По выходу мне пообещали пожизненные головные боли, расстройство памяти и вестибулярного аппарата. Об этом, разумеется, узнал я спустя несколько лет.

Итак, в комнате нас помещалось четверо: родители, сестра и я. Во дворе теснились сарайки, где, помимо углярки, у нас был загончик с поросенком Борькой и свинкой Машкой. Чудно... Совсем рядом самый центр города! Но какие мы тогда были городские! И не деревенские тоже — мы просто хотели выжить после голода, холода, болезней. Тогда, спустя всего несколько лет после войны, очевидно, жить хотелось всем, случайно оставшимся в живых — особенно. Еще и сытыми быть — тоже хотелось. Случайно живыми были дед и бабка по матери, мать со своей сестрой, моя сестра, родившаяся через три месяца после начала войны. Всех их вывезли из Ленинграда с цингой и дистрофией. А те, кто из питерской родни ушел на фронт, в том числе родной брат матери и ее муж — отец моей сестры, погибли. Отец мой случайно выжил загнанный немцами в белорусские болота. Больше двух недель плутал он по ним, питаясь конской дохлятиной. Потом еще были ранения, но умер он от испорченного раз и навсегда кишечника. Дед и бабушка со своей младшей дочерью, то есть с моей теткой и ее семьей, жили через два дома от нас в такой же жактовской двухэтажке. Дед тоже — случайно оставшийся в живых. И не только потому, что чудом избежал голодной смерти. Он убивал галок из ружья, которое по строгому распоряжению обязан был сдать. Он таскал домой с завода свой паек в контейнере, изготовленном из жести в форме живота. Настоящий, по словам бабушки, прилип у него к позвоночнику. Вынос продуктов за проходную тоже карался по законам военного времени.

Из того немногого, что я запомнил за несколько лет, проведенных на Техническом, — коньки «ласточки», прикрученные сырмятными ремешками к валенкам, газеты, навернутые на ноги для тепла. Рыбий жир, который силой вливали в сестру, чтобы избавить от малокровия. Захлебнувшегося в растворе марганцовки поросенка, «спасаемого» дедом от поноса. Мандарины, принесенные отцом в канун нового, 1952 года. Первые мандарины в моей жизни. И вообще — первые фрукты.

Тот период жизни кончился для меня переездом в самый центр Барнаула, на Октябрьскую площадь, где для работников котельного завода был построен пятиэтажный дом. В первый класс я пошел на новом месте, через пару месяцев после переезда. До завода от нашего нового жилища было пять остановок на автобусе или трамвае. Транспорт уже начал ходить исправно, однако отец так и ходил на работу пешком. Какая ему разница — двести метров или четыре километра! Он шел даже в самую лютую непогоду, никогда не носил перчаток и не опускал уши у шапки. Мне этого не понять. Мне не понять многое из отцовской жизни, о чем можно было бы в свое время расспросить его. Не расспросил. Когда понял, что знать это интересно и важно, — было поздно.

Наверно, случайно оставшиеся в живых тянулись к жизни с большей страстью, чем те, кто привык жить, особенно не опасаясь за себя. Во всяком случае, в поселке Кармацком мои дед с бабушкой оказались самыми первыми дачниками. Позднее их определили в звание садоводов, но тогда, в конце сороковых, в пятидесятых, не было ни садоводческих товариществ,

ни дачных участков. Дача — это означало что-то малоизвестное для простого люда, для заводских рабочих, в общих чертах — место, куда на лето выезжали семьи больших начальников.

Теперь, получив огород в тридцать пять соток, дед был уверен, что семья его с голоду не пропадет. Избушка была совсем крохотной, стены из сплетенных в маты ивовых прутьев, между которыми была засыпана земля. Главное место в жилище занимала настоящая русская печь, где бабушка пекла хлеб. В избешке едва умещались четыре взрослых человека, потому, когда по выходным съезжались родители, нас: меня, родную сестру и двоих двоюродных — отправляли спать на чердак. Там были заготовлены матрацы, набитые свежим сеном. В обычные дни я спал на чердаке один. Оставлял дверку открытой и смотрел через нее на звезды. Мечтал. Сейчас уж и не вспомнить — о чем, ибо тогда вокруг нас было мало из того, что искушает мечтателей сегодня. Может, о велосипеде. Может, о ружье, как у деда. Может, о собаке.

Кармацкое стоит на удивительном месте — с трех сторон закрыто бором, с четвертой — протекает речка без названия, просто старица. Когда-то здесь была вырубка под лесной кордон, потом к хозяйству лесника приросли другие дома. Никогда здесь не было ни колхоза, ни совхоза, трудоспособный народ ездил на работу в Новоалтайск и Барнаул, старики держали скотину, огороды — тем и жили. Соседей мало помню, разве что дядю Гришу, веселого матерщинника, потерявшего ногу на войне. Он был единственным случайно оставшимся в живых из тех, кто ушел отсюда на фронт. Жена его, тетя Дуся, приходила к нам прятаться, когда дядя Гриша, выпив, начинал военные действия в доме, а затем на улице. У других ей от него не спрятаться, только у нас. Деда фронтовик побаивался и даже не матерился в его присутствии, хотя вряд ли знал, что дед когда-то пел в церковном хоре и сквернословия не переносил. Мы брали у них молоко. Бабушка строго следила, чтобы успевали к парному, каждый обязан был выпить по кружке. Иногда сестре удавалось обмануть бабушку, и я с удовольствием выпивал вторую.

Жизнь наша в деревне проистекала размеренно, по строго заведенному порядку, и нисколько не походила на дачную. Благо, повторюсь, мы тогда знать не знали, что это такое. Огород подсказывал, что и когда нам делать — полив, прополка, прореживание, протяпывание... в лесу то же самое, все в свое время: поспела земляника, следом — клубника, малина, смородина, а там и грибы пошли. Собирали все это не забавы ради, в зиму готовили соленья и варенья на дюжину добрых едоков. Лес рубить в округе строжайше запрещалось, деду как городскому дрова не выписывали, потому мы заготавливали сушняк. Дед придумал специальный шест метров семи, на конце крюк из стальной полосы, остро заточенный с внутренней стороны. Подойдет к сосне, поднимет шест, надсечет сухую ветку у основания, затем передвинет крюк подальше от ствола. Дёрг — и ветка на земле. Запрета на такую заготовку топлива не было, да и дереву от нее никакого вреда. Когда наберется возок, погрузим ветки на телегу, взятую вместе с лошастью у лесника, и я отправляюсь домой. Дед остается заготавливать ветки на следующую ходку, а умная скотинка трогает сама по себе не спеша, дорогу знает. Бабушка, старшая сестра и я разгрузим телегу перед воротами, и поехал я назад, к деду в лес.

Сухая сосновая ветка горит, как бумага, к тому же дед во всем любил запасец, потому ездить за сушняком нам приходилось часто и с каждым разом все дальше.

Но самое суровое испытание для меня — дальние походы на несколько дней. Никуда не денешься, я у деда помощник один. Бабушке дома забот хватает, девчонки вообще не в счет. Кто собирает в поход рюкзаки, кто повозки, а мы с дедом — лодку. Водружаем ее на специально придуманную тележку и затариваем скарбом — рыболовные сети, удочки, садки, прочие снасти, сумки, ведра, корзины... и отправляемся вдоль берега, лугами к Мыльниковской яме, к дальним озерам, во множестве расселенным между Обью и старицей. И так получалось, что мы на лодке меньше плавали, чем таскали ее по суше. Был у деда какой-то резон в том, несомненно, был, напрасно силы тратить он не станет.

Привозили мы из тех походов рыбу, уток, которых дед ухитрился ловить с помощью старой сети, а нет — охотничья собака Пальма натаскает. Ведрами набирали смородину, ежевику, пучками — травы для ароматных чаев, чтобы деду веселее было коротать долгие зимние вечера. Впрочем, зимой он был занят не меньше, чем летом: вязал сети, налаживал другие рыболовные снасти, рубил свинец и катал из него дробь, снаряжал патроны.

По возвращении мы с Пальмой соревновались — кто кого переспит, только выигрывала всегда она, потому что мне надо было подниматься и качать ручным насосом воду на полив, бежать к леснику за лошадьё или идти ворошить сено на лесных полянках, выкошенных дедом. Скотину дед с бабушкой не заводили, и сено шло дяде Грише в оплату за молоко.

Когда рабочие субботы сделались короткими, родители стали приезжать каждую неделю. Бабушка прекрасно знала расписание пригородных поездов, но задолго до срока выходила в огород, откуда видно, как дорога выходит из лесу, прикрывала козырьком ладони глаза от солнца: не идут ли? И вот, наконец, появляется вереница приехавших из города.

— На этом не приехали, — сокрушается бабушка, — не успели, видать, на следующем приедут.

Мы уже попадались на эту шутку и теперь пытаемся разглядеть бабушкино лицо — глаза или улыбка выдадут. А она отворачивается, делает вид, будто солнце совсем ослепило ее.

— Опять ты нас разыгрываешь! — сердятся девчонки и тут же вылетают за ограду, встречать.

Нагруженные сумками родители медленно поднимаются в гору, и через несколько минут они уже расположились на скамеечках во дворе. Постепенно разглаживаются лица, с них сходит печать ежедневных забот, глаза теплеют, улыбки теряют определенность, они живут сами по себе...

Под легким навесом накрыт большой стол, городские закуски соседствуют с деревенским угощением. Дед покашливает, поднимая стопку — сигнал к началу большого семейного ужина. Вот они, все здесь, и нет поблизости другой родни. Моя бабушка Мария, финка, так и не научившаяся писать и читать на русском, все некогда было за хозяйством. Золотая голова, золотое сердце... Глянет — все твои секреты наружу, видит тебя насквозь. Да что там люди, расстояния и эпохи — все ей из-под ладони-козырька видно. Дед молчаливый, суровый и непреклонный. Все время что-то делает и не говорит. В наших долгих походах две-три фразы — как вязать снасти, как ставить лодку, когда проверяешь сети. Он молчит и будто наставляет: вглядывайся в то, что тебя окружает, вслушивайся. Большого тебе никто и никогда не расскажет. Дядя Коля, муж маминой сестры, мастеровитый и всегда хмурый, замкнутый, человек, оставшийся для меня загадкой. Может быть, он оттаивал в своем литейном цехе возле горячего металла

и хотя бы ненадолго забывал, что случайно остался в живых среди немногих уцелевших из разбомбленного госпиталя. Веселая тетка Люся. Иногда казалось, что вся веселость, отпущенная им с дядей Колей на двоих, досталась ей одной.

Отец играет на баяне, дед, мама и тетка поют песни, которые тогда пели в любом застолье. Только дед добавлял «Тройку почтовую» и «Монах стучит во двери рая...»

Я никогда не знал отцовых родителей, мои дети, обретя настоящую память, тоже не увидят дедов. Это несправедливо, судьба наказывает детей, которые еще ни в чем не виноваты. Что-то я им расскажу. Из того, что мне рассказали.

Отец, толком не окончивший школу, был удивительно талантливым человеком — играл на всех музыкальных инструментах, которые попадали к нему в руки, прекрасно рисовал. После войны он написал портрет Сталина, и этот портрет висел напротив двери в комнату.

Каждый вошедший встречался взглядом с вождем, и уже не было смысла искать глазами красный угол. Потом пришел Хрущёв, и отец скопировал на обратной стороне портрета картину Шишкина «Утро в сосновом бору». Сталина он повернул лицом к стене и сильно напился после того. Я мало что понимал тогда, наверно, многого не понимал и мой малограмотный отец, пришедший с войны весь в ранах и написавший портрет вождя. Он не мог не верить вождям, может быть, потому что они не дали ему возможности стать грамотным. Впрочем, известно: не всякая грамота учит нас разуму. А я все время чувствовал какую-то униженность и обиду за отца, мне казалось, будто он живет с ощущением, что однажды спрятал свое собственное лицо. Не может сильный человек спрятать лицо. Отец лупил всякого, кто нарушал законы справедливого существования. Часто ареной боя была пивная. Если отца пытались бить тяжелыми кружками, он мог отодрать от косяков дверь и колотить ей врагов поодиночке и парами-тройками. Он продолжал драться до семидесяти лет, причин для того на его век хватало с избытком. И я твердо знал, что есть вещи, которые можно исправить только с помощью кулаков. Может, в свои отчаянные схватки отец добавлял огня от оскорбления, которое нес в себе со времен повернутого к стене портрета.

Наутро я учил отца удить рыбу. Странно, не правда ли, что он до сих пор ни разу не пробовал этого делать. Потом на берег пришел дядя Гриша, и они с отцом расположились за опохмелкой. Сосед безуспешно пытался выучить слова песенки фронтового шофера, а отец терпеливо повторял и повторял...

Женщины варили варенье и готовили обед, дядя Коля размечал место под будущую пристройку к дедовой избушке. Сестра уговаривала маму послать ее в пионерский лагерь, поскольку ей «с этой мелюзгой» здесь скучно.

Деревне не пришлось спасать нас от голода. Она помогала в другом — хотя бы изредка прибавляла сил моим родным, безумно уставшим от войны. И никак не успевающим отдохнуть.

Моему сыну сегодня исполняется восемнадцать. В этом возрасте я уже работал, хотя чувствовал себя в жизни не очень уверенно. Мой сын не стал умнее меня. Жаль. А, впрочем, рано еще судить, поумнеет. Я вот — нет, это точно.

Мой лучший друг художник Георгий Алексеев скучает в своем скучном Питере. Я туда не хочу. Хочу в домик на берегу горного озера возле Горной Кольвани, который мы так и не построили. Если в жизни случается многое, столь же многое и не случается.

Хочу беляш. Нет более противного продукта, чем эти уличные постряпушки на вчерашнем жире. А вот захотелось.

Из минувшего лета запомнилось все в обратном порядке — Аскат, наш маленький съемный домик на берегу Катуня, Москва, Анталия, Рязань... Хотелось бы пожить в Аскате, каждый день ходить на серебряный ключик, лечить глаза.

Любят удачливых, я в этом убеждался много раз. Наверно, так и должно быть. Недавно сестре исполнилось шестьдесят пять, именно в день ее рождения я был уволен. Еще год назад поездка к ней в гости в Рязань не была такой уж фантазией, а вот теперь надо думать, на что покупать хлеб. Когда-то я подрабатывал извозом. Может, снова попробовать?

Я же в родном городе, я не должен здесь пропасть! Но я остался один...

Родители похоронены в Рязани, их родители, то есть мои деды — в Барнауле, Киргизии, Беларуси. Родители моих дедов — в Финляндии, Польше, под Питером, в Беларуси. А дальше я уже не знаю, вот такое слабое у меня представление о древе своего рода. А про кого известно — в войнах вся их жизнь да в нужде.

Сейчас войны нет, однако остаться в живых тоже непросто. И, как прежде, нередко это счастье выпадает по случайности.

Надо мне завести домик с кусочком земли в какой-нибудь недалекой деревне. Или садовый участок. Чтобы не пропасть — копать в земле, возиться по хозяйству, в общем, делать что-нибудь глупое.